

А. С. Г Р И Б О Е Д О В

ЕГО ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ

В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Редакция и примечания Зин. ДАВЫДОВА

Издательство «КРАСНАЯ ГАЗЕТА». Ленинград. 1929

ЗНАКОМСТВО МОЕ С ГРИБОЕДОВЫМ

Я был предубежден против Александра Сергеевича. Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде. Он уже несколько месяцев был в Петербурге, а я не думал с ним сойтись, хотя имел к тому не мало предлогов и много случаев. Уважая Грибоедова как автора, я еще не уважал его как человека. «Это необыкновенное существо, это гений!» говорили мне некоторые из моих друзей. Я не верил. Всякий энтузиазм в других порождал во мне холодность, по весьма естественному рассуждению: чем более человек находится вне себя, тем менее он способен ценить, измерять вещи глазами рассудка; следовательно те, которые внемлют ему, должны дополнять своим разумом пустоту и, не увлекаясь чувствами, более не доверять, чем верить. Впрочем, это правило применил я только к заглазным похвалам. Электрическая искра восторга потрясала нередко меня, но не иначе, как от прикосновения. Притом частые восторги юных друзей моих нередко вспыхивали от таких предметов, которые вовсе того не стоили. Как Макбет привидениями, я был пресыщен их чудесами и феноменами. Знаки восклицания в преувеличенных письмах о нем не более убеждали меня, как двоеточия и многоточия, — словом, я хотел иметь свое мнение и без достаточной причины не менять старого на новое. Между тем, однако ж, как я упирался с ним встретиться, случай свел нас невзначай. Я сидел у больного приятеля моего, гвардейского офицера Н. А. М — ва ⁵⁴, страшного любителя

всего изящного. Это было утром, в августе 1824 года. Вдруг дверь распахнулась; вошел человек благородной наружности, среднего роста, в черном фраке с очками на глазах.

— Я зашел навестить вас, — сказал незнакомец, — обращаясь к моему приятелю: — поправляетесь ли вы?

И в лице его видно было столько же искреннего участия, как в его приемах уметь жить в хорошем обществе: но без всякого жеманства, без всякой формальности; можно сказать даже, что движения его были как-то странны и отрывисты и со всем тем приличны, как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. Это был Грибоедов.

Обрадованный хозяин поспешил познакомить нас. Оба имени прозвучали весьма внятно, но мы приветствовали друг друга очень холодно, даже не подали друг другу руки. Разговор завязался по-французски о чем-то весьма обыкновенном; наконец, он склонился на словесность. Передо мною лежал том Байрона, и я сказал, что утешительно жить в нашем веке, по крайней мере потому, что он уместит и нить гениальные произведения (Байрова).

— Даже оденять многое свыше достоинства, — сказал Грибоедов.

— Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете или Байрон, — возразил я.

— Почему же нет! Может быть, и обоих. Разве поклонники первого не превозносят до небес его каждую поэтическую шалость? Разве не придают каждому его слову, наудачу брошенному, тысячу противоположных значений? С Байроном поступают еще забавнее, потому что его читает весь модный свет. Гете толкуют, как будто он был непонятен; а Байроном восхищаются, не понимая его. В самом деле, никто не смеет сказать, что он проник великого мыслителя и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда.

— Этому виной, я думаю, различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем, как

Байрон расцвел чувства мыслью. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон чувство, полагает, что легче разгадать последнее, чем первое, хотя то и другое равно трудно. Для того, чтобы заглянуть в лицо этим гигантам, равно, — заметил я, — для доступа к высотам их, не помогут ни ползки, ни прыжки: тут надобны крылья...

— И крылья орла, — прибавил Грибоедов. — Солнечные лучи играют и в блеске, и в капле; но только масса воды может отразить целое солнце, только высокая душа может обнять полную мысль гения. Что касается, однако ж, характеристики выражений в Гете и Байроне, она, мне кажется, слишком произвольна. Вы назвали их обоих великими и, в отношении к ним, это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет своею идеею все человечество; Байрон со всем разнообразием мыслей — только человека.

— Надеюсь, вы не сделаете этого укора Шекспиру. Каждая пьеса его сохраняет единство какой-нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих, несмотря на грязную пену многих подробностей, свойственных более веку, нежели человеку. Я не знаю ни одного писателя в мире, который бы обладал сильнейшим языком и большим разнообразием мыслей. Вспомните, что он проложил дорогу самому Гете. Вспомните, когда писал он...

— Все обстоятельства времени и просвещения, — отвечал Грибоедов, — благоприятствовали, конечно, развитию крыльев Гете. Но я сужу не творца, а творение, и едва ли творения Шекспира выдержат сравнение с гетевскими. Признаюсь вам, я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.

Это правда, это осязаемая правда; мы спорили на ветер...

— Я готов пройти тридцать миль пешком, — промолвил он улыбаясь, по-английски цитируя Стерна, — чтоб поглядеть

на человека, который вполне наслаждается тем, что ему нравится, не спрашивая, как и почему. Вы англоман и поймете меня.

Мы скоро расстались, с меньшею холодностью, правда, но без всяких приветов и приглашений.

— Каков? — спросил меня с торжествующим видом приятель мой.

— Умный человек; только я не вижу в нем ничего чрезвычайного. Конечно, он держался более в оборонительном положении, и ему смешно было бы расстегнуться на первый случай и выставить напоказ все свои достоинства; по крайней мере, я не нахожу причины переменить своего мнения. Ум и сердце, человек и автор — не все равно.

Я думал так и ошибался. Дальнейшие опыты и думы, более глубокие, убедили меня, что истинно умный человек — наверно человек добрый и что произведения автора есть отпечаток его души. Маска, приемлемая на себя сочинителем, обманывает только сначала; век нельзя притворяться. Одна мысль, одно слово изменяет самому хитрому лицемеру, умею только схватить его.

Вскоре после ужасного наводнения в Петербурге, Ф. В. Булгарин, у которого сидел я, дал мне прочесть несколько отрывков из грибоедовской комедии «Горе от ума». Я уже не раз слышал о ней; но изувеченные изустными преданиями стихи не подали мне о ней никакого ясного понятия.

Я поглотил эти отрывки; я трижды перечитал их. Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души. «Нет», сказал я сам себе, «тот, кто написал эти строки, не может и не мог быть иначе, как благородное существо». Взял шляпу и поскакал к Грибоедову.

— Дома ли?

— У себя-с.

Вхожу в кабинет его. Он был одет не по-домашнему; кажется, куда-то собирался.

— Александр Сергеич, я приехал просить вашего знакомства. Я бы давно это сделал, еслиб не был предубежден против вас... Все наветы, однако ж, упали перед многими стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не могло быть тускло и холодно.

Я подаю руку, и он, дружески сжимая ее, сказал:

— Очень рад вам, очень рад. Так должны знакомиться люди, которые поняли друг друга.

— В ответ на искренность вашу заплачу тоже признанием: не все мои друзья были вашими; притом и холодность ваша при первой встрече, какая-то осторожность в речах отбили у меня охоту быть с вами покороче. После, меня разуверили в этом, и теперь объяснилось остальное. Очень рад, что я ошибся.

После нескольких слов о потопе, который проник и в его квартиру⁵⁵, я встал.

— Вы собираетесь куда-то ехать, Александр Сергеич. Не задерживаю вас.

— Признаться, хотел было ехать на обед; но, пожалуйста, останьтесь и будьте уверены, что для меня приятнее потолковать о словесности, чем скучать за столом. Вы, наверное, уже обедали (было около пяти часов), а мне нередко случается позабывать за книгою обед и ужин.

— По-несчастью, я не книга, Александр Сергеич, — сказал я шутя.

— И слава богу! Человек-книга никуда не годится.

Не желая, однако ж, воспользоваться его снисходительностью, я, раскланиваясь, или прощаясь, просил его «Горе от ума» для прочтения.

— Она у меня ходит по рукам; но лучше всего приезжайте завтра ко мне на новоселье обедать к М. К. Ч Он на вас сердит за критику одного из друзей своих а друзья у него безошибочны, как папа; но он благород-

нейший человек, и я помирю вас. Вы хотите читать мою комедию—вы ее услышите. Будет кое-кто из литераторов; все в угоду слушателей-знатоков: добрый обед, мягкие кресла и уютные места в тени, чтоб вздремнуть при случае.

Я дал слово и мы расстались.

Разумеется, я не замедлил на другой день явиться по приглашению. Обед был без чинов и весьма весел.

С полдюжины любителей, человека четыре литераторов составляли общество. Часов в шесть началось чтение. Грибоедов был отличный чтец; без фарсов, без подделок он умел дать разнообразие каждому лицу и оттенять каждое счастливое выражение.

Я был в восхищении. Некоторые из любителей кричали: «прелесть, неподражаемо!» и между тем не раз выходили в другую комнату, чтоб «затянуться». Один поэт повторял: «великолепно!» при всяком явлении, но потом в антракте, встретив меня одного, сказал:

— Великолепно, но многое, многое надо переделать, *et puis — quel jargon!* Что за комедия в четыре действия

— Неужели вы находите, что мало четырех колес для дрожek, на которых ездите?— отвечал я и оставил его проповедывать, как надобно писать театральные пьесы.

Чтение кончилось. Все обступили автора с поздравлениями и комплиментами, которые принимал он очень сухо. Видно было, что он взялся читать не для жатвы похвал, а только, чтоб отделаться от неотступных просьб любопытных. Я только сжал ему руку и он отвечал мне тем же. С этих пор мы были уже не чужды друг другу... *

Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестящих праздников так называемого лучшего общества. Узы ничтожных приличий были ему несносны потому даже, что они узы. Он не мог и не хотел скрывать насмешки над позлащенной и самодовольною глупостью,

* Пропуск в подлиннике.

ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока. Кровь сердца всегда играла у него в лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать — никогда. Твердость, с которою он обличал порочные привычки, несмотря на знатность особы, показалась бы иным катоновскою суровостью, даже дерзостью: но так как видно было при этом, что он хотел только извинить, а не уколоть, то правоучение его, если не производило исправления, по крайней мере не возбуждало и гнева.

Он не любил женщин, так, по крайней мере, уверял он, хотя я имел причины в этом сомневаться. «Женщина есть мужчина-ребенок», было его мнение. Слова Байрона: «дайте им пряник да зеркало — и они будут совершенно довольны», ему казались весьма справедливыми.. «Чему от них можно научиться?» говаривал он. «Они не могут быть ни просвещены без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов — в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какой потерей времени должно покупать приближение к этим феноменам. Словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных».

Вся жизнь его деятельности, проведенная или на бивуаках кавказских, или в азиатских городах Грузии и Персии, имела много прелестей, или, по крайней мере, занимательности и без общества женщин, и это самое породило в нем убеждение, что в политическом быту мы должны осудить женщин на азиатское или, по крайней мере, на афонское заключение. «Они предназначены самой природой для мелочей домашней жизни», говаривал он, «равно по силам телесным, как и умственным. Надобно, чтоб они

жили больше для мужей и детей своих, чем невестились и ребячились для света. Если б мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и однообразнее; места не доставались бы по прихотям и связям—родственным или меценатов в чепчиках, всегда готовых увлекаться наружностью лиц и вещей; покой браков был бы прочнее, а дети умнее и здоровее. Сохрани меня бог, чтоб я желал лишить девиц воспитания; напротив, заключив их в кругу теснейшем, я бы желал дать им познания о вещах, гораздо основательнее нынешних».

Кавказ.
1829 г.
